

## ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

### I. Детство.

Местом моего рождения является Унгер-Штейнбергское (Ungern-Sternberg) поместье Такфер (Takfer) в Вике<sup>1</sup> (курортный район Гапсаль<sup>2</sup>; Эстония).

Я появился на свет 28 февраля 1831 года. Мой отец Фридрих Иоганзен (Friedrich Johannsen) был диспONENT-распорядителем (так называли управляющих имениями в Вике). Маму мою, урождённую Зимберг (Simberg), звали Анна Ульрика (Anna Ulrike). Крестил меня пастор Фрезе (Frese) из Пёналя (Poenal) 18 марта того же 1831 года. Моими крестными родителями были записаны господин директор Гиршгаузен, господин кандидат Эдуард Гиршгаузен (Eduard Hirschhausen) и госпожа служащая Мария Грегори (Marie Gregori).

Самым первым моим воспоминанием раннего детства является тёмная ночь под открытым небом: я лежал в своей кроватке во дворе, а небо было усеяно огненными искрами – горел родительский дом. Огненный дождь в ночном небе настолько запал в мою память, что я и сегодня отчётливо вижу его в своём воображении.

Мама умерла, заразившись сибирской язвой от павшей коровы, когда мне не было и двух лет. Мы с моей старшей сестрой тоже заразились и до сих пор носим на наших лицах шрамы – отметины этой очень тяжёлой и страшной болезни. У наших родителей кроме моей сестры было ещё пять сыновей: Юлиус, ставший позже фармацевтом; Александр – бухгалтер в Рижском управлении по акцизу<sup>3</sup>; Фридрих – бухгалтер в книжном магазине в Петербурге; Август, ставший владельцем нотного магазина на Невском проспекте в Петербурге, также являлся комиссионером в консерватории и, наконец, автор этих строк Генрих Эдуард – пастор. Все мои братья и сестра умерли, и из старейших представителей нашего родового древа остался лишь я один.

Мой отец оставался вдовцом недолго – он женился на Шарлотте Штейнберг (Charlotte Steinsberg), дочери управляющего имением Розенхаген (Rosenhagen), расположенного в 14-ти верстах от Ревеля/Таллина на Дерптском тракте. Шарлотта получила образование в Ревельской женской гимназии и стала великолепной любящей матерью своим шестерым приёмным детям. Её брат был очень популярным артистом в труппе имени Августа фон Коцебу<sup>4</sup> и выехал вместе с коллегами в Германию. Там он

---

<sup>1</sup> Wiek – Вик или также Вика – немецкое и шведское название древне-эстонской земли Ляанемаа.

<sup>2</sup> Ныне Хаапсалу – до 1917 года официально назывался Гапсаль – Napsal.

<sup>3</sup> Акциз – вид косвенного налога, в основном на предметы массового потребления и услуги, включаемый в стоимость товаров и тарифов на услуги.

<sup>4</sup> Август фон Коцебу (August Friedrich Ferdinand von Kotzebue, 1761–1819) – немецкий

женился на актрисе из Веймара. Их дочь, моя дорогая незабвенная кузина София, была яркой, жизнерадостной натурой и отличалась изящной внешностью. Будучи воспитательницей в доме Мясоедовых, она много путешествовала – побывала в Лондоне, Париже и т.д. Но она страдала от судорог. Ни один врач-аллопат не мог ей помочь. В Лондоне гомеопат прописал ей три пилюли – и она выздоровела!

Но вернёмся во времена моего детства. Я вспоминаю маленькую вишнёвую рощу во дворе и ручей с островками, протекавший по территории имения. Моим неразлучным товарищем был брат Август, двумя годами старше меня; иногда мы по очереди одной ложкой черпали размоченный в молоке хлеб. И, должно быть, мы однажды очень раздрадили старого козла, потому что он погнался за нами и сшиб нас.

Отец, видимо, меня очень любил, поскольку, когда я как-то уснул на задней лестнице господского дома и все со страхом повсюду меня искали, то что я получил за свой сладкий сон от папы? Розги! Но мне это не повредило.

Из Такфера мы переехали в Кескфер (Keskfer), и там мой отец также служил управляющим. В моей памяти сохранились бесконечно яркие воспоминания о том времени. Однажды мы с братом Августом носились в столовой вокруг круглого стола. Я упал и сломал себе ключицу. Отец отвёз меня в Хаапсалу к врачу Гунниусу (Hunnius).

Мы с Августом много бродили по окрестности, доходили, например, до Фогельзанга (Vogelsang), где находилась каменоломня с зарослями ежевики. За большим лесом располагалось имение Лехтигаль (Lechtigall), его невозможно было увидеть из нашего Кескфера. Но когда мы впервые увидели возвышающийся над лесом величественный каменный замок, мы были ошеломлены! Это было как мираж, как Фата Моргана.

Как-то я навестил дружившее с нами семейство Лонгартенов (Lohngardt) на хуторе Куррафер (Kurrafer). По дороге домой, совсем близко от меня, через забор перепрыгнул волк. Я нацелился на него своей палкой и закричал: „Пафф!“ . Должно быть, волк был сыт – он побежал дальше – стояло лето. Когда я рассказал об этом дома, то меня высмеяли: „Ты видел собаку!“ . Но сельский ребёнок хорошо разбирается в окружающей его среде. Внезапно с улицы раздались крики: „Урях, урях!“ – так эстонцы отпугивают волков. И всё-таки это был волк!

Ещё одно событие запечатлелось в моей памяти. Отец взял меня с собой на рыбалку. Весной Кассаринский ручей (Kassarienbach) разливался необычайно широко, затопляя и заболачивая луга. Ночью во время разлива мы поплыли на лодке, на носу которой горел смоляной факел, освещая воду до самых краёв зелёного луга. Мужчины кололи трезубцем довольно крупные рыбины, проплывавшие мимо целыми косяками. Этот редкий момент до сих пор отчётливо стоит у меня перед глазами.

Я хотел бы упомянуть ещё один эпизод: во время венчания папы с его второй женой, моей дорогой второй мамой, я – еще совсем малыш, гордо встал между ними

---

драматург и романист.

перед алтарём. Так мне рассказывали.

От второго брака моего отца осталось две сестры. Старшая, ныне живущая Алина (Aline), вышла замуж за баварского музыканта Фридриха Гейслера (Friedrich Geissler) и после его кончины содержала в Ревеле частную школу. Вторая дочь Тереза последовала за мной в Сибирь (Омск), куда я направился на свою первую службу в роли пастора, вышла там замуж за преподавателя Кадетского корпуса Николая Оже де Ранкура (Nikolas Auger de Rancourt), но умерла от чахотки после рождения сынишки.

Но я тороплю события. Наша размеренная семейная жизнь прервалась в одночасье. Отец скончался, скорее всего, от инсульта. В моей памяти сохранилось его пугающе потемневшее лицо. Похороны на погосте в Пёнале (Poenal) рядом с его первой женой я вспоминаю довольно отчётливо. Мои родители покоятся под одной каменной плитой. Могила расположена у кладбищенской стены. Будучи студентом, я с братом Августом навещал могилу родителей и места нашего детства.

После смерти отца мы с нашей мачехой переехали в Ревель (Reval), где у неё были хорошие друзья, среди них и семейство фон Рап (von Rahr). Старшие дети вскоре покинули дом. Позже Каролина вышла замуж за русского учителя Богородицкого; Августа отдали сначала в лютеранский детский дом, потом его отправили в Петербург на учёбу к литографу и впоследствии, как уже было сказано, он стал владельцем нотного магазина. Он женился на дочери аптекаря из Новгорода, которая родила ему двух сыновей. Но она страдала от истощения и умерла; вскоре за ней последовал и её муж Август. Их малолетние сыновья Август и Фриц были отданы на попечение нашей сестре Алине Гейслер (Aline Geissler) в Ревель. После достижения совершеннолетия им было выплачено наследство их отца: каждому по 15000 рублей. Августа эти деньги сгубили. Фриц увильнул от воинской обязанности, сбежав за границу, и там сгинул. Но это всё произошло позже.

Моя дорогая мама имела в Ревеле скудный доход завхоза в женской гимназии, в которой она когда-то училась. (Позднее она стала заведующей начальной школой). Временным пристанищем для неё и трёх несовершеннолетних детей стала тесная маленькая квартирка с одной комнатой и узкой кухней. За отопление печей в школе отвечала одна девушка, мама же следила за порядком. Комната, в которой мы жили, первоначально служила входом в монастырь, располагавшимся ранее в этом здании. Это подтверждает и табличка на стене над окном: здесь ничто иное, как дом божий, и здесь врата на небо. Она была достаточно заметна и прохожие видели её, когда входили через ворота во двор эстонской церкви.

В этом тесном помещении я перенёс тяжёлую болезнь. Моя дорогая мама верно меня обихаживала. Зимой я поехал с развозчиком молока в Розенхаген (Rosenhagen) к своей кузине Софии Штейнсберг (Sophie Steinsberg) и при этом простудился. Ещё в имении я заметил тяжесть в голове, при подсчёте мелочи (медных монет) я с трудом мог сосредоточиться. По возвращении домой мама отправила меня к Рапам (Rahr) вернуть им их зонтик. Я не помнил, как я добрался домой – меня сломила болезнь.

Лечил меня доктор Гландорф (Glandorf), мама ухаживала за мной, своим любимцем, с большой самоотверженностью. В течение двух недель я был абсолютно глухим и остался глух на левое ухо на всю свою оставшуюся жизнь. Последним средством, принёсшим мне выздоровление, с божьей помощью оказался мускус. Прошло три месяца, прежде чем мне было разрешено покинуть постель – за окном стало зелено. Долгое время ещё я оставался слабым и мне не разрешалось переутомляться в школе.

## II. Годы учёбы.

Первой школой, которую я посещал, была начальная школа учителя Валькера (Walker), располагавшаяся на Лангштрассе вблизи ворот на пляж. Оба сына Валькера Теодор и Рихард стали позже, в гимназии и в Дерпте/Гарту (Dorpat), моими друзьями. Оба изучали теологию и стали пасторами, Теодор сначала в Бессарабии, затем в Лифляндии (Livland), а Рихард в Казани дослужился до преемника финского священника Бунданена (Bundanen). Потом я перешёл в районную школу под руководством инспектора Гиппиуса (Hippius) на Рюсштрассе (Ruessstrasse), где меня особенно интересовали уроки пения под руководством Гагена (Hagen) и рисования под началом Мевеса (Mewes). К рисованию у меня были и желание, и талант. Талант художника обнаружила у меня учительница рисования женской гимназии фройляйн Машенька Лоренцен (Lorenzen). Я по-настоящему пользовался любой возможностью, чтобы после уроков в каком-нибудь из классных помещений женской гимназии рисовать мелом на доске всевозможные сюжеты. Кроме всего прочего Лоренцен обучала меня также и приёмам быстрого рисования.

Чтобы перейти в четвёртый класс ревельской (таллинской) губернской гимназии, я должен был брать частные уроки латыни и греческого. Старшеклассник Шпрекельзен (Spreckelsen) (ставший позднее пастором в Вятке) занимался со мной греческим языком, а Фальк (Falk) – латынью. Фальк был остроумен, писал стихи в стиле а ля Генрих Гейне. Он был во мне очень заинтересован. Однажды он предложил мне выпить с ним по чашке шоколада в кондитерской на Лангштрассе. Я, глупый мальчишка-идиот, посчитал за грех сидеть в кондитерской и – к изумлению Фалька – сбежал из этого вертепа разврата. Будучи ещё студентом, Фальк покончил с жизнью выстрелом в голову. Этот непонятный мне поступок поразил меня очень глубоко.

Ревельская (Таллинская) гимназия, в то время абсолютно немецкое заведение под руководством великолепного директора Гальнбека (Galnbek), положительно отразилась на развитии моего внутреннего мира и оставила во мне глубокий след. Преподавательские силы были превосходными. В четвёртом классе географию и историю преподавал Розенфельд (Rosenfeld). Именно благодаря ему география стала моим любимым предметом. Латынь и немецкий вёл Гаусман (Hausmann), математику – Панш (Pansch), русский язык – Пицбаум (Pitzbaum) и прежде всего религию – священник, диакон из Св. Олайя (St. Olai) Гун (Huhn). Ему я за многое бесконечно

благодарен. Гун был оригинальным человеком, умным, необычайно притягательным и не менее сентиментальным. На него молились старые девы и другие малоприятные ему личности, что однажды дало ему повод к высказыванию: „Такие противные существа заслуживают быть оплёванными“.

Ещё в пятом классе я сблизился со старшим педагогом Мейером (Meier), преподававшим латынь. Он зазывал меня в гости, чем я охотно пользовался. Он давал мне почитать хорошие книги и поддерживал меня своим личным влиянием намного больше, чем своими уроками. Являясь уроженцем Киля, он иногда разговаривал на платт-дойч со своим земляком, старшим преподавателем Домской школы (Дом-шуле) Папстом (Papst). Но внезапно его преподавательской деятельности был положен конец. Он оказался замешанным в Лифляндском деле. Вся его корреспонденция была изъята полицией, и по городу распространился слух: „Мейера отправляют в Петербург под конвоем жандармов!“. Его ученики спешно собрали деньги и принесли ему их перед самой отправкой. Это произошло на следующий год после буржуазно-демократической революции 1848 года в Берлине. В это же самое время внезапно освободили и выпроводили из страны нашего учителя французского языка Кастре де Терьяка (Castre de Terjac). Мы сопровождали его до посадки на пароход. Когда его увозили, то он, сняв шляпу, прокричал: „Виват, Революция!“. Его последователем оказался М. Давид (M. David), поощрявший меня в освоении французского языка. Если я иногда прогуливал его урок, то он имел обыкновение спрашивать гимназистов: „А Вы видели Иоан-зена?“. Но если кто опаздывал на урок, то он любезно вопрошал: „Дё-я?“

Меня интересовали уроки рисования, а мои рисунки заинтересовали других. Так родилась мысль, что я должен готовиться к поступлению в Петербургскую Академию художеств, куда и были направлены некоторые из моих работ. На счастье они вернулись назад в том же виде, как их отправили, т.е. их никто не смотрел. Но во мне вскоре созрело решение изучать теологию. Большое впечатление произвёл на меня урок конфирмации, проводимый пастором Гуном (Huhn). К тому же в моей жизни произошло событие, о котором я никогда не рассказывал. Я находился в том возрасте, когда душа то рвётся ввысь, то её бросает в тёмную пучину. Это волнение и трепет души, это почти болезненное состояние созревания от ребёнка к молодому человеку наступило у меня именно тогда, когда я, благодаря Гуну (Huhn), находился под впечатлением его урока конфирмации. Я искал ясность и равновесие в единении с Богом. Во время трёхдневного отсутствия моей семьи я погрузился в Священное Писание и с помощью обнаруженных в нём параллелей впал в такое состояние поиска и противостояния, что забыл про еду и питьё, пока в конце-концов на грани своих сил (образно говоря) не оказался на полу. Мои родные были очень озабочены, обнаружив меня в таком виде. Во мне наступил перелом. С высот возбуждающих устремлений я столкнулся с реальностью, которая на долгое время экстремально обнажила передо мной материальное. Это явилось следствием психологического развития, произошедшего во мне. Господь тогда милостиво охранил меня от нравственного

зablуждения.

Жизнь в обществе. Четыре-пять семейств, в которых молодое потомство обоих полов дружило между собой, держалось вместе, и попеременно то в одном доме, то в другом собиралось весёлое общество. При этом иногда доходило и до танцев. В семействе фон Бар (von Bahr) проводились уроки танцев, в которых принимали участие и мои сёстры. Танцевали обычно очень усердно, и разгорячённые девочки легкомысленно просили попить холодной воды, а я как строгий ментор удерживал их от этого желания.

Летние каникулы обычно проходили в сельской местности, например у арендатора Вейсса-Вайсса (Weiss) в Паддасе (Paddas). Лично я также бывал с удовольствием у своего родственника Бернгарда Иоганзена (Bernhardt Johansen), управляющего имением в Мексе (Meks) или у Вилькена (Wilken) в Вайте (Wait), женатого на моей кузине, или у Георга Мейера (Georg Meier) и его матери в Зёзуне (Soesun) у Балтийской гавани, относящейся к епархии Маттиаса. (В этой же общине Маттиаса родилась и тётя Паулина Карлблом (Pauline Karlblom), золовка нашей незабвенной Луизы Карлблом (Luise Karlblom), урождённой Буш (Busch). Теперь обе покоятся рядом на кладбище в Твери).

Во время учёбы в гимназии моими лучшими друзьями были Адольф и Лео Купферы (Adolf, Leo Kupfer), Карл и Герман Вейсы (Karl, Hermann Weiss), Феликс Гюбнер (Felix Huebner), оба Дитриха (Dietrich) – сыновья московского пастора Дитриха – и другие.

Будучи в гостях у Вейссов-Вайссов (Weiss) в Паддасе, мы навещали семейство Вейденбаумов-Вайденбаумов (Weidenbaum) в Тольсбурге (Tolsburg), проживавших в загородном доме в прелестной местности у истоков ручья. Молодых людей притягивал сюда сильный магнит: двенадцатилетняя Амалия Вейденбаум-Вайденбаум (Amalie Weidenbaum), в которую были влюблены практически все. Брюнетка, очень развита как телесно, так и душевно, она писала стихи и вообще была очень интересной девушкой. Позже, когда Лео Купфер (Leo Kupfer) завершил учёбу, она стала его супругой, а после его ранней смерти вышла замуж за Мюллера (Mueller) в Москве. Я навещал их в 1864 году, приехав в Москву из Сибири во время отпуска. Она была и моей первой любовью.

Тольсбург (Tolsburg) первоначально был каменным замком, нависающим над морем; возможно, он служил в своё время таможней.

Так проходил мой первый юношеский период – время учёбы в школе – в общем-то весело и при всей скудости нашего материального положения беспечно и удовлетворённо.

### **III. Время учёбы.**

В июле 1853 года вместе с Феликсом Гюбнером-Гибнером (Felix Huebner) я

отправился в „фургоне“<sup>5</sup> в Дерпт/Тарту (Dorpat) и ректором университета Гафнером (Haffner) был зачислен в ряды студентов. Поскольку мне нужно было выучить греческий и еврейский языки, я поступил сначала на физико-математический факультет, занимался политической экономией и камералистикой<sup>6</sup>, пока после сдачи экзамена не был зачислен на теологический факультет. Тем самым время моей учёбы в Дерпте/Тарту затянулось до 1858 года. Но в подготовительный период я изучал и дополнительные предметы, требовавшиеся от студентов-теологов: историю, новейшую латинскую классику и философские предметы, историю философии, логику, психологию и метафизику. Затем наступило время изучения теологических дисциплин: история церкви (проф. Курц – Kurz), толкование-экзегеза Ветхого Завета (проф. Кайль – Keil), символика (проф. Энгельгардт – Engelhardt), энциклопедизм у него же, догматика и этика (проф. Алекс. фон Эттинген – Alex. v. Oettingen), толкование Нового Завета также у Эттингена и Кристиани (Christiani) (Откровение Иоганна) история догм у Эттингена и т.д. Кристиани читал лекции по предметам практической теологии. На теологическом семинаре мы упражнялись в толковании писания и истории церкви. Заключительные экзамены прошли с Божьей помощью хорошо. При подготовке к экзамену я занимался вместе с Гуземаном (Huesemann), моим сотоварищем по комнате, ставшим позднее пастором в Тифлисе/Тбилиси (отцом супруги пастора Г. Беермана (G. Beermann) в Эстонии, ранее в Царском Селе). Больше всего меня интересовали догматика и толкование Апокалипсиса. Я не просто изучал то, что нам преподносили, а с удовольствием занимался самостоятельно. Я изредка был вольнослушателем у профессора физики Кемптца (Kemptz) и у профессора химии Карла Шмидта (Carl Schmidt, 1820-1894). Очень интересными были экзамены на звание магистра и защиты докторских диссертаций. Я регулярно посещал церковные службы в университетской церкви, расположенной в то время в библиотечном зале, который тогда ещё находился в помещении перестроенного алтаря. Иногда профессор Энгельгардт (Engelhardt) или Эттинген (Oettingen) подменяли Кристиани (Christiani). Также в одно из воскресений слушал я епископа Вальтера (Walter) в Мариинской церкви, где профессор Виллигероде (Willigerode) сопровождал литургию великолепным пением. Тема проповеди пастора Вальтера гласила: „Как перевести семитское в Библии на индоевропейский язык“. Как говорилось, Вальтер был напичкан ересью, „как старая кровать клопами“. Но он был сильный оратор. Его проповеди походили на тяжело нагруженную повозку, едущую сначала с грехом пополам по бревенчатому мосту, но потом словно мощный поток увлекающую всё за собой. Простые обыватели ничего не понимали в его проповедях, но находили их прекрасными.

Епископ Вальтер (Walter) занимал пост Лифляндского Генерального суперинтендента. По прибытии в Петербург он произвёл сенсацию своей проповедью,

---

<sup>5</sup> Кавычки у самого автора. – Прим. перев.

<sup>6</sup> Камералистика – совокупность административных и хозяйственных знаний по ведению камерального – дворцового и государственного хозяйства.

что даже царский двор выказал симпатию к нему. Его сильно политизированная проповедь в парламенте очень знаменита.

Среди присуждений докторской степени мне особенно памятна защита профессора Ратлева (Ratlef). Его оппонентом был Ширрен (Schirren). Ратлев являлся приверженцем теории Риттера (Ritter)<sup>7</sup> о влиянии строения почвы и формы страны на историческое развитие народа (так, например, Рим никогда не мог бы возникнуть на восточном побережье Италии). Ширрен (Schirren), напротив, был иного мнения: где бы ни появился свободный человек, он всегда будет господином мира, независимо от территории и почвы под его ногами. „Я вырву у Вас почву из-под ног!“ – рычал он своим львиным голосом с кафедры на бедного испуганного Ратлева. Но в принципе-то прав был Ратлев.

Во время защиты докторской диссертации я восхищался элегантною и искусною латынью оппонента, Главного пастора Шварца (Schwarz).

Что касается юношеской жизни, то из-за ограниченных финансовых средств я не мог чувствовать себя в землячестве „Эстония“ как дома; и кроме того, там были элементы, неблагоприятно ко мне расположенные, – и я вышел из этого общества. Я вступил в Объединение теологических вечеров, называемое раньше „Арминия“ (Arminia); его христианско-студенческие принципы полностью соответствовали моим мыслям и чувствам. Здесь я обрёл себе верных друзей: Рихарда Фогеля (Richard Vogel), Келлера (Keller), Гюземана-Гиземана (Huesemann), Керма (Kerm), Фрица Буша (Fritz Busch) и других, с которыми иногда предпринимали вылазки, например на Святое озеро (Heiligensee) – там можно было послушать четырёхкратное эхо – или устраивали выезд верхом в Гольцзеттельн (Holzsaetteln), расположенный в 14-ти верстах на запад, где с высоты любовались необъятной далью – настоящий праздник кругового обзора. Можно было подняться и выше на ложную вершину Мунамяги (Munamägi)<sup>8</sup>. (В 1893 году я принимал участие в „филистерском дне“ (празднике безделья) студенческого объединения „Арминия“ в Риге и во Фридрихштадте (Friedrichstadt) у Рэзиса Фогеля (Raeses Vogel), навестил своего дорогого брата Александра и мы с ним и моей племянницей Альмой посетили „Лифляндскую Швейцарию“. При осмотре пещеры Гутмана<sup>9</sup> я обнаружил в углу справа внизу дату 1503, т.е. год битвы под Плескау/Псков

---

<sup>7</sup> Карл Риттер (Karl Ritter, 1779-1859) – немецкий географ и почвовед, один из основоположников современной географической науки.

<sup>8</sup> Правильнее „Суур Мунамяги“ – самая высокая точка Эстонии и Балтийских стран, высотой 318 метров над уровнем моря. Расположена около посёлка Хаанья, уезд Вырумаа в юго-восточной части Эстонии, недалеко от границ с Латвией и Россией. Здесь же речь ведётся именно о ложной вершине, расположенной в другом месте.

<sup>9</sup> Пещера Гутмана – самая известная в Сигулде и окрестностях пещера. Здесь когда-то, по легенде, встречалась с возлюбленным девушка Майя – Турайдская Роза. По площади и объёму пещера Гутмана одна из крупнейших в Латвии – более 18 метров в длину и 12,5 метра в ширину, высота свода – 10,7 метра. В древности использовалась для жертвоприношений языческим богам. На стенах сохранились надписи XVII-XIX веков, которыми в своё время



(Pleskau), во время которой ландмайстер Ливонии Волтер фон Плеттенберг (Wolter von Plettenberg) с войском в 2000 рыцарей поверг в бегство огромную армию русских. „Много народа, много народа!“, – кричал он, влетая в сомкнутые ряды и вылетая обратно, и при очередном его крике вся русская армия побежала. И впечатление от этой битвы оказалось настолько мощным, что даже 30.000 русских под Нарвой, только и ожидавших нападения на Эстонию, тоже пустились наутёк).

Я позволил себе небольшой исторический экскурс, а теперь вернёмся к нашей теме.

Вот ещё несколько эпизодов времён моего студенчества, сразу в первом семестре, когда я проживал с Феликсом Гюбнером-Гибнером (Felix Huebner) на Петербургской улице (за Эмбахом/Embach). Я проиграл тогда спор русскому купцу Лунину, в итоге задолжал ему 10 рублей. Товарищи уговаривали меня не отдавать эту сумму, но я её выплатил, как только смог. И тогда Лунин сказал: „... Я дрался на дуэли (на рапирах) только один раз, но выучившись и набравшись внутреннего опыта и став зрелым, я сам не придавал особого значения понятию ‘совесть’, тем более, что считал этот поединок нарушением Божественной заповеди“.

В течение последнего года учёбы я жил с Гюземаном-Гиземаном (Huesemann), мы работали много, но у нас вышли все средства к существованию. Человек должен питаться, а на хождения по гостям с застольями у нас не было времени – что же нам оставалось делать? И тут я обнаружил между стеной и крышей кучу старых сапог с ботфортами (по старой моде). У булочника мы брали хлеб в долг, а чай и сахар у нас были. Итак, за пару старых сапог помощник колбасника дал нам колбасы, и это помогло нам продержаться. Такая ситуация продолжалась несколько недель, так что я могу сказать, что нас какое-то время кормили старые сапоги.

Я не имел случая побывать в карцере и всё-таки хотел бы сказать: я там тоже был. В то время я жил в Техельферских горах (Techelferschen Berge) в доме Бейзе-Байзе (Beise). Там я перелез через забор и побежал через открытое поле в Новум (Novum), где гастролировал театр. Я намеренно не надел строго установленную в то время студенческую униформу. Как только швейцар увидел это, он направил меня, разумеется, к ректору. И я на три дня был отправлен в карцер. Все эти дни я много работал, а повариха приносила мне еду. Стены карцера были украшены большим количеством изречений; до окна едва можно было дотянуться, если взобраться на стул, поставленный на стол.

Август 1858 года. Мои земляки из студенческой корпорации сопровождали меня до „Кувшина слёз“ (по дороге на Ревель/Таллин). Это место названо так из-за обилия пролитых там капель вина, пива и пунша. Так я покинул город муз на Эмбахе (Embach) с богатыми воспоминаниями, с радостным юношеским задором, готовый к борьбе с жизненными невзгодами и трудностями и с юношеской лёгкостью относиться к проблемам, среди которых зачастую были и финансовые. Учёба открыла мне смысл

---

отмечались богатые господа.

всего высшего, а теология стала якорем моей души, придав кораблику моей жизни уверенную позицию и твёрдую опору.

#### IV. Испытательный срок.

Мы очень медленно продвигались с эстонским крестьянином по дороге на Ревель/Таллин, ибо лошади должны были часто отдыхать в пути. В ночи светилась огромная комета (1858 год), её шлейф расплзался по всему небу; он был самым большим из всех, какие мне посчастливилось наблюдать.

По прибытии к дорогой маме, работавшей теперь учительницей в начальной школе для девочек, я сдал консисториальный экзамен «pro venia concionandi»<sup>10</sup> на разрешение читать проповеди и почти сразу же сдал второй экзамен для теологов «pro ministerio»<sup>11</sup> Генеральному суперинтенденту Рейну-Райну (Rein) вместе с Антоном Галлером (Anton Haller), Фр. Гершельманом (Fr. Hoerschelmann) и Гольцпетером (Holzpeter), ставшим позднее пастором в Астрахани. После экзаменов, следуя предложению В. Кентмана (W. Kentmann), я занял место домашнего учителя в доме барона Унгерн-Штернберга-Анния (Ungern-Sternberg-Annia). Вместе с Кентманом мы занимались с двумя сыновьями этого дома, а также ещё с молодым Грюневальдом-Гриневальдом (Gruenwald) и четвёртым учеником. К сожалению, об этом доме нельзя сказать ничего хорошего. В нём господствовал дух грязи, принёсший дурную славу баронессе Юлии. Домашним учителем до нас был там Мартенсон (Martenson). В его дневнике нашли жалобу, что он от голода готов был кусать стол. Безнадёжное положение, в котором находился в то время молодой человек (его выпроводили из университета за какие-то проделки, и он собирался всей душой отдаться делу преподавания на дому), привело в этом доме к трагедии. В конце-концов он заболел тифом и скончался. Баронесса вообще не заботилась о больном. Между ней с одной стороны и мною с Кентманом (Kentmann) с другой стороны шла молчаливая и непрекращаемая борьба. Мы потребовали, например, полноценный завтрак. Когда мы пожаловались барону и попросили горячий завтрак с положенными к нему вилками, то мы получили маленькие кусочки масла на чёрный хлеб, пару солёных рыбёшек и несколько начинающих гнить яблок – всё, как и раньше! – но при этом ещё две вилки! Ванной комнатой мы не смели пользоваться, ибо „Мыло стоит денег!“. Когда мы однажды после посещения семейства Кюне (Kuehne) привезли из Лехтса (Lechts) для ребят несколько голубей, то баронесса приняла этот подарок с кислой миной: „Эти обжоры требуют слишком много корма!“. И вскоре голуби вообще пропали! Когда Кентман (Kentmann) решился покинуть этот дом и я должен был остаться продолжать преподавание в одиночку, тогда я быстро решился и

---

<sup>10</sup> Консисториальный экзамен или Первый экзамен для теологов – итоговый для студентов богословского факультета.

<sup>11</sup> Второй экзамен для теологов – «pro ministerio» – предоставлял будущему пастору все его права: практическое проведение служб, крещения, венчания, подготовку к конфирмации и пр.

сказал за чаем: „Господин барон, я должен Вам сообщить, что я тоже покидаю Ваш дом“. В руке хозяина дома задрожала чайная ложка: „Но почему?“. „У меня есть свои основания для этого!“.

Так я поехал сначала в Ревель/Таллин. Но поскольку мне предложили место домашнего учителя в Царском Селе, то вскоре после Рождества я отправился на санях в Петербург к своему брату Августу, владевшему нотным магазином на Невском проспекте напротив Гостиного Двора. С местом домашнего учителя ничего не вышло и так я оказался в Петербурге без средств к существованию – и поступил на годичную практику к пастору Лааланду (Laaland)<sup>12</sup> при эстонской общине Апостола Иоанна. У Лааланда я учился эстонскому языку, он поправлял мои проповеди на эстонском и объяснял мне грамматику.

Летом 1859 года я познакомился со своей будущей женой Маргот. Фриц Буш (Fritz Busch)<sup>13</sup>, мой будущий родственник, привёз меня к своим родителям на Парголово, 3, где они проводили лето. Маргот было в то время 17 лет.

Зимой 1859 года моего пастора Лаланда (Laaland) навещил пастор Мейер (Meyer) из Омска и уговорил меня продолжить его дело в Сибири – стать его преемником. Я дал согласие, поскольку за полученную во время учёбы в Дерпте/Тарту ежегодную стипендию в 200 рублей я должен был отслужить пастором три года в Сибири или четыре года в России.

Дополнительно ещё один эпизод из времени студенчества. Когда в 1853 году английская флотилия стояла у Наргена (Nargen) под Ревелем, я вместе с некоторыми другими студентами попросил отпуск у ректора для охраны членов наших семейств в бедствующем городе. Мы прибыли к Лааксбергу (Laaksberge) возле Ревеля и увидели, как английская канонерская лодка обстреляла береговую батарею. В ответ с батареи не раздалось ни единого выстрела, потому что офицеры выехали в замок Фалль (Fall), забрав с собой ключи от порохового погреба, и запретили нарушать их покой. Между прочим, английская стрельба грохотала так, что после каждого выстрела мы пускали лошадей вскачь и добрались с огромным трудом.

В то время мне очень нравилась шутка барона Унгерна (Ungern), племянника моей скупой хозяйки-работодательницы. Её ожидали именно в Ревеле, и он воскликнул: „Дрожи, Британия! Едет тётя из Аннии! (Annia)“.

Мне вспомнились ещё некоторые моменты из студенческих времён. Когда мы с братом Августом отправились посетить могилу наших родителей, то заехали и в Хаапсалу (Hapsal), где именно в это время пребывал царь Александр II с супругой и

---

<sup>12</sup> Корнелиус Лааланд (Cornelius Laaland, 1824–1891) с 1849 по 1877 гг. являлся пастором церкви Святого Апостола Иоанна (Peterburi Jaani kirik) эстонско-немецкого прихода в Санкт-Петербурге.

<sup>13</sup> Фриц Буш (Friedrich von Busch, 1838–1905) – брат моей будущей жены, сын педагога и наставника Великих князей [Эдуарда Генриха фон Буша \(Eduard Heinrich von Busch\)](#), 1811–1887).

детьми. Он чувствовал себя там превосходно – как школьник на каникулах. Я видел царскую семью совсем близко. Он шёл с купания, держа в руке полотенце. Царица шла рядом с ним. Её большие красивые глаза сияли добротой. Их ещё не опечалил испуг от последовавшего покушения. Царица ответила на моё приветствие любезной улыбкой.

Вместе с Августом в обществе Софии Штейнсберг (Sophie Steinsberg) и первой жены моего брата Александра Ольги, урождённой Майер (Meyer), мы отправились на пароходе „Шторфюрстен“ („Storfürsten“) в Гельсингфорс (Helsingfors/Хельсинки). Дул встречный ветер, пароход раскачивало с носа до кормы, пассажиры находились во власти Нептуна. Я, развесёлый, сидел на бушприте<sup>14</sup>, обрызгиваемый морской пеной, и рисовал карикатуры, поскольку поводов для этого было предостаточно. Затем в гельсингфорской гостинице „Клейнес“ („Kleinehs“) с большим аппетитом обедали, а вечером танцевали в парке развлечений, называвшемся Брунспарк<sup>15</sup>. Когда мы стали собираться домой, пошёл дождь. Я взял экипаж для наших дам, но подошёл полицмейстер и потребовал экипаж для себя. Тут же он услышал от меня нелестное замечание и вынужден был отказаться от своей затеи. Правда, он не преминул заметить, что я „дерптский студент“.

1859 год. Мой испытательный срок у пастора Лааланда (Laaland) подходил к концу. Я поехал в Ревель к своей дорогой умирающей матери, которая „не могла умереть, не повидавшись со мной“. Последние несколько дней её жизни я провёл у её постели. Ей, моей мачехе, я обязан очень многим. Она любила меня как родная мать, а испытать любовь означает приобрести сокровище на всю жизнь. Я похоронил её на Цигельскоггеле (Ziegelskoggel).

Я покинул Ревель/Таллин вместе с сестрой Терезой (но в Ревеле осталась моя сестра Алиса Гейслер (Alice Geissler) с детьми Эллинорой, Арведом и Шарлем. Эллинор последовала за своим покойным отцом, приветливым сердечным католиком-музыкантом из Баварии Фридрихом Гейслером (Friedrich Geissler). Шарль, будучи управляющим имения в Эстонии, скончался от очень тяжёлой болезни – вокруг пупка образовался нарыв, разрушивший внутренние органы. Арвед, изучавший юриспруденцию, из-за болезненного состояния и ввиду русификации остался без работы, но стал акцизным чиновником и до сих пор живёт у своей матери).

## **V. Годы моей церковной службы.**

Прибыв в Москву, я снял меблированную комнату и посетил Генерального

---

<sup>14</sup> Бушприт – брус, выступающий за форштевень судна, служит для крепления носовых парусов.

<sup>15</sup> „Чаще всего матросов с кораблей, стоящих в Гельсингфорсе, можно было видеть в парке развлечений, называвшемся Брунспарк. Расположенный в юго-восточной части города, он имел неоспоримое преимущество: в 10-15 мин. ходьбы находился порт“ – Цветков И.Ф. «Дредноуты Балтики. 1914-1922 гг.»

суперинтендента Р. Дикгофа (R. Dickhoff). „Где Ваши вещи?“ – был первый вопрос этого любезного архипастыря. – „Немедленно принесите сюда Ваш чемодан!“. Один из его сыновей пошёл со мной, и мы забрали чемодан из снятой мною комнаты. Пасторат московской церкви Петра и Павла именовался в те времена восточной гостиницей для пасторов.

18 сентября 1860 года состоялось моё посвящение в церковный сан. Я читал проповедь о юноше из Наина (Nain).

В Москве я приобрёл всё необходимое, также и шубу из шкуры молодого медведя (после окончания службы мне посоветовал один господин, сказав, что в Сибири меха предостаточно, но нет ни одной дубильни).

Так с отвагой и надеждой на господу Бога я направился на Восток вместе с сестрой Терезой. Сначала на omnibusе добрались до Ярославля, а оттуда на пароходе „Самолёт“<sup>16</sup> до Камы. Капитан этого судна Пельснек (Pelsneck) позже стал членом моего прихода в Твери. От Елабуги мы поехали на Урал через Бирск. Лошадей меняли в деревне Черемисино. Жители её были язычниками. Я спросил красивую, стройную как ель бабу в красном сарафане, увешанном цепочками монет на груди и спине: „Как вы называете Бога?“. Она ответила: „Юма (Juma)“. В слове не хватало лишь буквы „л“ для эстонского „Юмал (Jumal)“ и слога „ла“ для финского „Юмала (Jumala)“. Также и названия чисел у остяков<sup>17</sup> в северной части Сибири очень схожи с эстонскими, а при более близком знакомстве с восточно-финскими народами выявляется их языковая общность. Бросается в глаза очень незначительное влияние русского на эти народы как в языковом отношении, так и образе жизни, в то время как татары оказали на них значительное влияние. Только у мордвы в Самарской губернии западнее Урала я обнаружил русское влияние.

Мы с Терезой прибыли в Златоуст и зашли к пастору. Примерно в 50 верстах южнее города возвышается трезубец Таганая высотой 1200 метров над уровнем моря. Для неопытного глаза это расстояние примерно около пяти вёрст. От Златоуста, где больше не добывали золота, а работал в то время лишь единственный чугуно-литейный завод, поехали мы дальше через Миасс, где ещё находили золото. Мне рассказывали: во время посещения наследника престола будущего царя Александра II здесь был закопан самородок золота, а наследника попросили копнуть несколько раз лопатой, чтобы золото проступило. Этим трюком пользовались каждый раз, чтобы побудить правительство к продолжению золотоносных разработок и к предоставлению дополнительных средств. При этом добыча золота постоянно уменьшалась.

Мы ехали дальше через Шадринск. В Сибири принято платить 3 копейки за трёх нанятых лошадей. Начальник станции, явно и часто обсчитывавший проезжающих, хотел обмануть и меня, потребовав такую же, как и в европейской части России, более высокую оплату. Энергичное „Дурак!“ с моей стороны заставило его произнести очень

---

<sup>16</sup> Целое пароходство на Волге тоже называлось «Самолёт» – см. дальше по тексту.

<sup>17</sup> Остяки – устаревшее название хантов.

покорнейше „Слушаюсь-с!“ и я поехал за три копейки дальше на Омск через Ялуторовск. В октябре в Сибири уже лежит снег. Но дорога была совсем чистая, только по обеим сторонам земля была покрыта белоснежным покрывалом. Чёрная пыль сельской дороги – чёрная земля – сделала нас похожими на трубочистов, так что перед Омском мы должны были основательно помыться и почистить одежду.

В Омске мы с сестрой поселились в очень удобной пасторской квартире, состоявшей из передней, зала, кабинета, салона, столовой и спальни. Председатель правления церковной общины Кап. Муселиус (Kap. Musselius) вручил мне список всех членов своего прихода – к ним относился и генеральный губернатор Гасдорф (Hasdorf) – которых я должен был навестить, чтобы ознакомиться со своей общиной, даже простых ссыльных, что я тоже охотно сделал. Омский приход состоял практически из немцев. После того, как я со всеми познакомился, будучи даже приглашён на обед к генеральному губернатору, я в ноябре 1860 года отправился при минус 35 градусов мороза в колонию Рыжково. Она находилась в 200 верстах западнее Омска и в 18-ти верстах от станции Орлово на так называемом Сибирском тракте – большой дороге, проходящей через всю Сибирь ещё до эпохи железнодорожного движения. Крепкие морозы не так чувствительны там, поскольку воздух абсолютно недвижим, тем не менее надо в два, а то и в три раза теплее одеваться. Но при малейшем ветре было бы ужасно и невозможно выдержать такую температуру. Так я благополучно добрался до Рыжково, доложившись и поручив волостному управлению дать распоряжение всем лютеранам из русских деревень собраться в определённое воскресенье в Рыжково. Собрались все. Видимо, управление просто приказало собраться. Состоялась незабываемая служба, моя самая первая в Рыжково! Церковь (построенная в 1818 году) строилась из мощных балок сибирской берёзы, настолько твёрдых, что их с трудом можно было обрабатывать топором. Твёрдость древесины определяется тонкими годовыми кольцами, образующимися в короткое сибирское лето. Как мне объяснили, церковь не отапливалась потому, что старая печь сильно чадила. И я стоял перед алтарём этой церкви „Иоганна Крестителя“ в своей медвежьей шубе, держа в руках в тёплых рукавицах чашу с причастием. А довольно многочисленное количество собравшихся прихожан притоптывало ногами от холода! Таким образом начало моей деятельности в общине оказалось ледяным. Рыжково основали финские крестьяне, сосланные сюда в 1803 году из Коханкина (Kohankina) под Нарвой из-за восстания против своего жестокого хозяина, владельца имения барона Унгерн-Штернберга (Ungern-Sternberg). Я беседовал с одним 90-летним финном об этом событии и он мне всё рассказал. К моменту моей службы там проживали потомки бунтовщиков – Кенног-Даниель (Kennog-Daniel), т.е. Даниель, сын „Короля“, майор Томс (Thoms), сын „майора“ Томса. Отсюда можно заключить, что восстание было подготовлено на военном уровне. До 1840 года жителями Рыжково оставались исключительно финны. Они основали и две филиальные колонии – Боярко и Пуденен. В 1840 году по распоряжению правительства началось заселение этой местности эстонцами, латышами

и финнами. Это были ссыльные, считавшие каторжные работы на Сайменском канале<sup>18</sup> тяжёлыми и просившими у правительства о высылке их в Сибирь. Среди всех этих различных народов был и всякий сброд, и Рыжково славилось недоброй репутацией. Первым пастором в его приходе служил масон Валькер (Walker)<sup>19</sup>, оригинальный человек с польско-католической женой. Он основал в Рыжково пасторат, ввёл ради жены католическую службу, позволил старейшинам общины размахивать кадилницей, поставил на алтарь вышитый из шёлка портрет Марии с ребёнком, а во время шествий по его приказу стали развеваться церковные флаги и т.п. Все эти принадлежности я обнаружил в маленькой ризнице во время посещения Рыжкова в 1860 году. Валькер похоронен на кладбище в Рыжкове. Его преемником в 1840 году стал пастор Пундани (Pundani)<sup>20</sup>, перебравшийся около 1855 года в Казань, где я его навещал. Его преемником стал пастор Фр. Мейер (Fr. Meyer)<sup>21</sup>, но продержался он недолго – ссыльные отравили ему жизнь. Он приезжал в Петербург как раз в то время, когда я там же проходил свой испытательный срок у пастора Лааланда (Laaland). Он уговорил меня перенять его пост в Сибири и посему рекомендовал меня московской Консistorии, к которой меня приписали. Прибыв в Рыжково, я обнаружил там настоящий воровской притон. Так что я попал в него и вынужден был по настоянию жителей занять должность судьи. Не помогло ничего, сколько бы я ни сопротивлялся, даже когда я сказал: „А кто поставил меня судьёй над вами?“. Народ буквально осаждал меня. Они приходили ко мне с жалобами: „Здесь самогон судья! Кто принесёт ‘старейшине’ ведро самогонки, тот и прав, даже если его вина будет абсолютно доказана“. Волостное управление находилось за 80 вёрст и потому все обычные незначительные и мелочные дела решались собранием старейшин! И настоящим судьёй действительно была самогонка. Поэтому я решил бороться с кричащей несправедливостью, а именно следующим образом: в присутствии старейшин я вызывал скандалящие стороны, выслушивал их и выяснял обстоятельства дела. После этого виновный передавался суду старейшин. Тем самым во всё время моего пребывания в колонии царил

---

<sup>18</sup> Сайменский канал соединяет систему озёр Сайма на юго-востоке Финляндии с Финским заливом и Балтийским морем.

<sup>19</sup> По данным проф. Э.Н. Амбургера это был Роберт Иоганн Вальтер (Robert Johann Walther, 1777–1838) из Эстляндии, получивший теологическое образование в Йене, возведённый в сан пастора в 1817 году в Москве, где он с 1816 по 1818 гг. руководил школой (St. Michaelisschule) при лютеранской церкви Святого Михаила Архангела, а с 1819 года до самой своей смерти в 1838 году являлся пастором в Рыжково – см. Erik Amburger. *Die Pastoren der evangelischen Kirchen Russlands vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1937: Ein biographisches Lexikon*. Martin-Luther-Verlag, 1998, ISBN: 978-3875131109, S. 507, Nr. 1194.

<sup>20</sup> Петер Август Пундани (Peter August Pundani, 1810–1885) получил образование в Дерпте/Тарту (1828–1835), с 1840 по 1847 гг. являлся пастором в Рыжково, с 1848 по 1880 годы – пастором и дивизионным проповедником в Казани – см. там же, S. 438, Nr. 877.

<sup>21</sup> На самом деле Фридрих Вильгельм Мейер (Friedrich Wilhelm Meyer, 1827–1909) являлся пастором в Рыжково лишь с 1852 по 1859 гг. – см. там же, S. 415, Nr. 767.

идеальный порядок. Но когда я уезжал, то всё снова шло по-старому. Один из заседателей, помощник „исправника“, спросил меня однажды: как так получается, что в моём присутствии всё решается спокойно и судьям нечего делать. Я спросил его, доволен ли он этим положением вещей. „О, безусловно!“ – прозвучал ответ. – „Ну, тогда всё в порядке“, – ответил я.

Земли, принадлежавшие колонии, были плоскими, низкими и заболоченными, пахотные наделы истощёнными, а благодаря притоку населения от 100 до 200 душ ежегодно возник и дефицит пашни. К этому добавилась и эпидемия скота. Люди с большим удовольствием переселились бы в другие места. Поэтому я обратился к генерал-губернатору с просьбой о выдаче разрешения на переселение в Кронсланд (Kronsland). Он пошёл мне навстречу. С 15-ю лучшими, наиболее трудолюбивыми и главным образом финскими крестьянами я отправился в сопровождении исправника на речку Ом, впадающую около Омска в Иртыш. В 120-ти верстах от Омска находилась подходящая для осваивания земля, которую инспектор обмерил в моём присутствии: 25000 десятин размером, степь (чернозём) с рощами (берёзы и осины), а в середине большой заболоченный кусок размером в 8000 десятин. Это болото Шадрино нельзя было не принять во внимание. В бедные дождями сухие годы на этом болоте был неслыханный сенокос, а в дождливые летние сезоны великолепная трава для заготовки сена вырастала по всей степи. Здесь, на реке Ом, на участке в 9-10 км, я заложил четыре деревни – для латышских, эстонских, финских крестьян и четвертую для финских ссыльных. Официально эти деревни назывались Ревель (Reval), Рига (Riga), Нарва (Narva) и Геллингфорс (Hellingfors).

В качестве земли для пастората я выбрал надел на большой излучине, колене реки Ом, рядом с латышской деревней. Я купил у русских две комнаты, соединив их промежуточным помещением. В маленькой я поселился; она была оклеена обоями, обставлена мебелью и украшена картинами. Берёзовую рощу превратили в парк с дорожками, беседками и скамейками. Первое время меня обслуживала старая латышка, а позже я нанял ссыльного в качестве слуги и его Аманду Винтер (Amanda Winter) поварихой.

Первое лето 1864 года – года начала переселения в Омские колонии – было очень урожайным. Латыш, переселившийся незадолго до Троицы, спросил меня, успеет ли он ещё посеять зерно. Я ответил: „Давай, действуй! В этом году вырастет и созреет всё“. Так и произошло. В августе один из финнов показал мне репу, выросшую в его огороде. У неё был размер головы ребёнка. Мне было жаль, что я не смог послать её на выставку огородных достижений. Я тоже собрал богатый урожай. С 13-ти посаженных пудов картофеля на моём участке было выкопано 300 пудов и на полях ещё оставалось достаточно остатков для свиней. Для моих коров и лошади люди заготовили сено и за это были вечером вознаграждены едой и напитками.

На Иванов День (Ивана Купалы) у меня в общине были гости из Омска – дамы и господа из муниципалитета. Наш маленький парк был украшен 200 фонариками, над



входом в парк был вывешен транспарант: „Да здравствуют гости!“ . Гости расселись в небольшой беседке и опустошили большую чашу крюшона; сверкали бенгальские огни и ракеты. Латыши усадили меня на стул, украсили меня гирляндами и пели „Лехгокс, Яни! Лехго, Яни!“ . В большой беседке собрались представители эстонской, латышской и финской общин и танцевали под хорошо звучащую скрипку. Люди великолепно развлекались без алкоголя и пива, а старая эстонка сказала: „После того, что я тут увидела и прочувствовала – не жаль и умереть!“ .

Созданием Омской колонии я в известной степени воздал должное своему творческому порыву и потому взял в консистории отпуск для поездки домой, навестил моего будущего тестя в Петербурге, встретился также и с Маргот, определившуюся в чувствах ко мне (но об этом я узнал позже), отправился пароходом в Ревель/Таллин к своей дорогой сестре Алине, похоронившей дочь Эллинор, принял участие в созванной Генеральным суперинтендентом [Вильгельмом Карлбломом \(Wilhelm Carlblom\)](#) конференции пасторов консисториального управления (первый Синод состоялся в Москве лишь в 1907 году) и возвратился назад в Омск.

В Ревеле/Таллине моей колонией заинтересовались пастор Гун (Huhn) и некоторые дамы дворянского происхождения. Они организовали Общество взаимопомощи и на протяжении четырёх лет переслали мне в общей сложности около 400 рублей, на которые мы купили лошадей и коров. Это было необходимо, ибо из-за эпидемии сибирской язвы люди потеряли практически весь свой скот. Русские крестьяне охотно давали моим людям лошадей и коров под расписку с моей стороны об оплате. И когда я после получения денежного перевода приезжал в колонию, вывешивая в качестве знака своего пребывания чёрно-красно-золотой флаг студенческого братства, сиявший до соседней деревни, то приходили русские с выписанными мною подписками и получали свои деньги (я служил порукой, ручался за оплату лошади или коровы).

Из письма своего будущего тестя в Ст. Петербурге я узнал, что его дочь Маргот определилась в своих чувствах ко мне и потому он попросил меня прибыть к ним. Решающий час пробил. Я прочёл письмо на горе у Баян-Аула в киргизской степи и в сентябре 1865 года после получения разрешения на отпуск отправился в Москву, где провёл три дня, чтобы улучшить свой внешний вид новой одеждой. 5-го октября состоялась помолвка, а 20-го ноября в петербургской Аннен-кирхе пастор Зееберг (Seeberg) обвенчал нас.

Перед самым венчанием произошло недоразумение. Пастор Зееберг (Seeberg) был уже на месте, я сидел в мантии вблизи алтаря, не хватало только невесты. Она не появлялась и не появлялась. Наконец послали свидетеля офицера Артура Карлблома (Arthur Carlblom) выяснить, в чём причина задержки невесты. И выяснилось, что экипаж, который должен был доставить невесту в церковь, так и стоял спокойно перед церковными воротами. Кучер не понял распоряжения привезти невесту. У свидетелей был довольно заспанный (!) вид. Но получасовое ожидание не выбило меня из колеи: в своей Маргот я был уверен.

В конце ноября мы собрались в путь. Побывали день у Карлбломов (Carlblom) в Москве, в Нижнем Новгороде навестили пастора Локенберга (Lockenberg) (сына старого Состуса (Sostus) в Дерпте/Тарту), в Казани – пастора Пудани (Pudani), где нас разместили в неотапливаемой комнате. Маргот простудилась и по распоряжению доктора Фрезе (Frese) нас перевели в тёплую комнату. Жена быстро поправилась, и мы с облегчением покинули негостеприимный дом. До Екатеринбурга мы ехали в возке (закрытых санях); санная дорога была невероятным образом практически уничтожена колёсами тысяч подвод, везущих товары на ярмарку в Ирбит. В буквальном смысле она состояла из гор и долин, так что возок кидало из стороны в сторону, а нас, пассажиров, и наши вещи бросало друг на друга. После такого сильного пассивного „движения“ мы отдыхали на станциях и в Екатеринбурге, где я вынужден был попросить взаймы у пастора тамошней общины, ибо все имевшиеся на дороге деньги вышли. В Омске, к счастью, меня ожидало приличное жалование порядка 300 рублей и я смог погасить долг. По пути мы заехали в Рыжково. Маленькая комнатка временного пастората была настолько забита членами прихода, что Маргот вынуждена была остаться у возка. Прибыв в Омск, мы обнаружили в пасторате пирог от члена церковного совета Розенплантера (Rosenplanter), а также целую батарею бутылок с вишнёвой наливкой. Вишню собирал я сам в Баян-Ауле на вершине гранитного холма. Горная вишня имеет особый аромат. Я привёз её вместе с бочонком водки в Омск, а Розенплантер изготовил прекрасную наливку. Маргот тоже наслаждалась ею, пока лимонад – смесь наливки с водой – не вызвал у неё отвращение.

Являясь до конца 1864 года проповедником в Тобольской губернии, я в действительности отвечал за церковное обслуживание лишь двух губернских округов – Омска и Тары. Но теперь, после ухода проживавшего в Тобольске главного проповедника Западной Сибири, я был назначен замещающим главного проповедника и, таким образом, должен был обслуживать всю губернию сибирской киргизской степи. С 1865 года я проезжал по четыре тысячи миль в год и таким образом смог ознакомиться со страной. Особенно на юге, в киргизской степи, можно любоваться великолепными пейзажами, например Баян-Аулом, Каркаралинском с его озером на вершине горы и привлекательным, напоминающим Шварцвальд<sup>22</sup> Кокчетавом – хребтом в четыре тысячи футов высоты из известняка и гранита в 14 вёрст длиной, окружённым кристально чистыми озёрами, богатыми рыбой.

В 1866 году я предпринял большой объезд подопечной губернии в сопровождении Маргот. В 1867 году мы проделали тоже самое, только уже вместе с нашим первенцем Германом (Hermann). Интересным было наше пребывание в Баян-Ауле у семейства Тетелевниковых. Госпожа Т. была немка, урождённая фон Таубе (von Taube). Мы жили в юрте и однажды нас обслуживал казак-офицер на настоящий киргизский лад: нам были поданы четыре различных блюда из баранины, а кусок жирной грудинки был зажарен на углях.

---

<sup>22</sup> Шварцвальд – Schwarzwald – „Чёрный лес“ в Германии.

На дальнейшем пути в Тобольск мы сделали остановку у доктора Фюнера (Fuehner), уроженца Баден-Бадена. Его жена, урождённая Зефтиген (Saefligen), была подругой Маргот. Это были очень милые люди и верные друзья! В частности, и сестра Зефтиген Бетти тоже.

Я оставил Маргот в Тобольске и продолжал свой объезд дальше один. В Абатском, пересыльной станции на Сибирском тракте, на соединении дорог из Тобольска и Тюмени, стоял я на крыльце и смотрел в направлении Тобольска, думая о Маргот. И тут вдруг подъехал тарантас, и кто сидел в нём? Маргот! Это была радостная встреча!

В финской колонии на реке Ом один из сосланных получил лицензию на открытие пивной. Начались пьянки! По прибытии в Омск после объезда губернии я получил от финского крестьянина, порядочного человека Маттиаса Званова, письмо следующего содержания: „Злой дух победил доброго святого духа. Люди пропивают свои последние рубашки! Приезжайте скорее и изгоняйте дьявола“. Я немедленно отправился туда, взяв с собой лучших людей, опечатав бочку с водкой, отобрал у хозяина пивной лицензию и отослал её в акцизное управление с разъяснением: „Ни при каких обстоятельствах я не потерплю открытия кабака во вверенной мне колонии“. Об этом событии говорил весь город. Мне было сказано, что мне, вероятно, придётся заплатить штраф в размере 200 рублей. Я ответил: „Даже 20 копеек не дам!“. Так и произошло. Глава акцизного управления, господин де Лагард (de Lagarde), сам финн, написал мне, что я превысил свои полномочия. Но я и без него это знал. Кстати, потом я стал другом его дома. Об этой истории сообщалось и в „Московских Ведомостях“, и автор статьи Катков приписал в конце: „Хотелось бы, чтобы все священники действовали точно также“. (Эта история произошла ещё в 1864 году).

Ещё пара эпизодов из моей жизни в Сибири. Однажды я ехал зимой по губернии, посетил в одной из деревень одинокую немку, причащавшуюся у меня, и она меня предупредила не спать в пути, потому что извозчик, который должен был меня везти, подозревается в убийстве. У меня был незаряженный пистолет, лежавший на подоконнике станционного дома. Когда извозчик вошёл в комнату доложить, что лошади запряжены, он сказал: „Не забудьте взять пистолет!“. Я сказал ему, что это само собой разумеется. Я тихо лежал в санях и наблюдал за парнем, он очень медленно повернул голову и посмотрел на меня – и отвернулся, взглянув мне прямо в глаза. Глаза его были налиты кровью и, казалось, что он способен стать убийцей беззащитных путешественников.

Интересной была моя поездка по киргизской степи. В Баян-Ауле я нарисовал киргизку, принёсшую мне кумыс, и стоявшего перед юртой мальчика Абшалона со следами оспы на лице. В городе Акмолинске я рисовал бухара – и тоже со следами оспы на лице. Подошедший казак, рассматривая мой рисунок, сказал: „У этого рожа чище, чем у него“. Мой деверь, муж сестры Терезы, Николай Оже де Ранкур (Nikolaus Auger de Rancourt), преподаватель Кадетского корпуса в Омске, посетил меня в новой колонии на Оми и отправился со мной в объезд по территории колонии на карафашке

(вид телеги, повозки), в которую запрягли моего серого коня Ганса. В эстонской колонии Ревель один из эстонцев перекрыл проезжую дорогу жердями, потому что она пересекала угол его двора. При нашем проезде дорога была ещё открыта, но когда мы возвращались по ней, она оказалось перекрытой. Это было наглостью, которую я не мог стерпеть. Эстонец стоял на своей баррикаде, воздвигнутой против собственного пастора, с длинным шестом в правой руке. Я молнией набросился на него и выбил палку из рук с приказом, немедленно убрать баррикаду. Всё произошло молниеносно. Мой деверь спросил: „А если бы он ударил?“. Но я ответил: „Простой мужик покоряется морально-психологической силе“. Мне нельзя было показывать людям свою слабость. В противном случае никто бы со мной не стал считаться и вся моя деятельность оказалась бы напрасной.

Семь с половиной лет я прожил в Западной Сибири и вёл службы в немецких, эстонских, латышских и финских приходах на их родных языках. Несмотря на то, что сельские общины состояли практически из ссыльных, обслуживать их было настолько трудным, что во мне часто возникало моральное отвращение. И тем не менее эта моя первая община стала мне дорога, как первая любимая жена! И я сам также оказался стоящим этой большой сибирской общины, потому что прихожане ещё долго вспоминали обо мне с любовью. Но, к сожалению, не удалось изгнать злой дух из последователей членов приходов, о чём сообщалось в описании визита Генерального суперинтендента Фермана (Fehrmann) в „Воскресном листке“.

В мае 1868 года вместе с женой и ребёнком я покинул Сибирь. В Тюмени мы сделали остановку, я должен был совершить обряд крещения в семье англичанина Нормана (Norman). Этот мистер Норман остался мне должен 120 рублей, которые он взял у меня в рассрочку. Но эти деньги мне не вернулись, так же, как и остальные суммы, данные займы.

### **III. Самара.**

1 июля 1868 года я прибыл в Самару. Моя дорогая Маргот поехала с маленьким Германом в Стрельню к родителям, откуда я их забрал через несколько недель. Она избавилась от лихорадки, напавшей на неё в дороге.

Самарская община и приходы эстонских и немецких колоний Самарской губернии, где я оказался первым постоянным пастором, оставили очень хорошее впечатление по сравнению с моей работой в деморализованной сибирской общине (она же большей частью состояла из ссыльных; сибиряки говорят: „Сосланный хуже животного“), и я полюбил Самарскую общину за три года моей работы в ней. Красивая церковь с колокольной располагалась на главной улице города (Дворянской), но, к сожалению, при ней не было пастората (я снимал жильё). Именно порядочные члены церковного совета и прежде всего его президент, господин Эрштрем (Oerstroem), директор городского банка, получивший образование в Дерпте/Тарту, равно как и доктор Веке

(Weke) и их семьи завязали с нами сердечные, дружеские отношения. Немецкая колония была создана в 1864 году во время польского восстания и состояла из бывших фабричных работников из Лодзи (Lodz), отказавшихся идти с поляками во избежание преследования со стороны повстанцев, и попросивших защиту у Российского правительства. Им выделили земли в Самарской губернии (35 десятин на семью). Конечно, потребовалось много времени и усилий, прежде чем фабричные рабочие, пропивавшие по субботам свои зарплаты после их получения, стали трудолюбивыми земледельцами. После того, как молодые люди основательно изучили земледелие, работая у своих соседей-меннонитов, также и немецкие колонисты из Польши стали трудолюбивыми фермерами. Но в мою бытность положение вещей там было ещё далеко не такое благоприятное. Тем не менее я нашёл среди них очень серьёзных, благочестивых христиан, а также семью баптистов. Эти немцы проживали в 12-ти колониях, разбросанных довольно далеко друг от друга. Обычно я проводил службы в молитвенном доме, где служил дьячок-учитель. Но однажды, по просьбе отдельных деревенских общин, я, разъезжая от деревни к деревне, в течение 5 дней провёл в послеобеденное время 12 церковных служб, включая освящение некоторых отдельных колоний.

Эстонцы проживали в шести деревнях по другую сторону ручья, отделявшего их от немцев. Это были три лютеранские и три православные эстонские деревни, жители которых происходили из Веррошена (Verroschen; Эстония). Для них также строился молитвенный дом. Состоявшая почти из 300 жителей православная эстонская община в период моей работы перешла в лютеранство и оставалась непоколебимой, несмотря на преследования. Прихожане были мне бесконечно благодарны за оказанное им „милосердие“. Моим действиям, правда, недоставало соблюдения внешних законов, но зато я руководствовался внутренними законами совести, с помощью которых укрощал и гнусную несправедливость. Но в газете появилось сообщение, выглядевшее так: „Сейчас мы повсюду создаём лютеранские общины“. Это сообщил в Ливонию (Лифляндию) один из эстонцев, а оттуда известие попало уже в русскую газету, и причём с жалобой или, точнее, с доносом, который русский священник направил архиепископу. Я тем временем уже переехал в Тверь. Мой преемник, пастор Гальнбек (Gahlenbeck), был вызван к губернатору и узнал от него, что правительство отказалось давать делу ход, поскольку „не обнаружили ни одного из цитируемых в статье эстонцев“!!! „Но не предавайте это дело широкой огласке“, – заключил губернатор. Несмотря на это, преследования верующих продолжались ещё долго и были полностью прекращены, видимо, лишь с октября 1905 года (со времени введения свободы вероисповедания).

Во время своего прощания я услышал от подопечных эстонцев: „Ваше имя мы никогда не назовём!“. И так я смог избежать опасности.

#### **IV. Тверь.**

С 1 июля 1870 года до 20 апреля 1906 г. я был пастором в Твери, будучи ответственным за общины всей губернии и даже деревни за её пределами. Первоначально община в Твери состояла из 500 душ, в то время как на территории губернии я должен был посещать лишь отдельные небольшие евангелические группы. К концу моей деятельности положение изменилось: в городе Тверь число прихожан постепенно снизилось до 300 человек, в том числе в результате перевода администрации „Самолёта“ (пароходства на Волге) из Твери в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Большинство капитанов и инженеров имели в то время квартиры в Твери; также на железной дороге служило много немцев. Но со временем их места заняли русские; немцы выполнили свой долг и ушли.

На праздник Вознесение в 1870 году я читал свою пробную проповедь в Твери; мой предшественник пастор Громан (Grohmann) уже перебрался в Ревель/Таллин. Тверская община избрала меня единогласно и я переехал с женой и детьми из Самары в Тверь. Спальню в пасторском доме нужно было оклеить заново, поскольку всё кишело от клопов! Как Громаны жили в таких условиях – было выше моего понимания. Мебель для гостиной я приобрёл за 120 рублей и также постепенно обставил и остальные комнаты. Президентом церковного совета являлся фармацевт-провизор Пётр Фроогольц Принц (Peter Frooholz Printz); кроме того, руководителями прихода были также аптекарь Юргенсон (Juergensson), братья Эдвард и Габриэль Шиндлеры (Eduard, Garbiel Schindler) и врач Эдуард фон Ландезен (Eduard von Landeszen). С последним мы хорошо понимали друг друга и стали большими друзьями.

3 сентября 1870 года Генеральный суперинтендент доктор [В. Карлблом \(W. Carlblom\)](#), дядя моей жены, ввёл меня в управление общиной. Во время обеда, устроенного по распоряжению членов церковного совета в пасторском доме, в зал спешно вошёл доктор фон Ландезен (von Landeszen) и провозгласил: „Дамы и господа! Наполеон и его армия взяты в плен, битва под Седаном выиграна!“ (Король Вильгельм, однако, сделал следующее высказывание: „Какой поворот событий благодаря провидению Божьему!“). Вот была радость!

Моя жизнь в Твери продолжалась почти 36 лет, самое длинное и значительнейшее время моей жизни как в личном, так и в служебном плане. Сначала о личном. Я приехал сюда с моей дорогой женой Фанни Шарлоттой Маргарет (Fanny Charlotte Margarete), названной Маргот, дочерью статского советника [Эдуарда Буша \(Eduard Busch\)](#), который вскоре получил звание действительного статского советника, стал кавалером ордена Св. Владимира и благодаря этому заслужил дворянское звание.

Я прибыл в Тверь с двумя детьми: с Германом Фридрихом (Herrmann Friedrich), родившимся в Омске 15 октября 1866 года и с Хедвиг Элизабет (Hedwig Elisabeth), родившейся в Самаре 18 октября 1868 года. В Твери у нас вскоре родилась дочка Эрика (Erika), но через год умерла от холерины<sup>23</sup>, великолепная девочка, блондинка,

---

<sup>23</sup> Холерина – острое желудочно-кишечное расстройство, по внешним проявлениям сходное с

копия матери. Мы очень тяжело перенесли этот удар. 25 марта 1872 года родилась Анна Луиза (Лили) (Anna Luise – Lilly). 1 октября 1873 года – Алина София Адельгейда (Aline Sophie Adelheid). 1 февраля 1875 года – Эрика София Леопольдина (Erika Sophie Leopoldine) и наконец 1 июня 1880 года – Вальтер Эдуард (Walter Eduard). В послеродовой период из-за недобросовестного ухода акушерки (русской) жена простудилась и заболела плевритом, трижды повторявшимся и приведшим 3 апреля 1885 года к смерти.

После такого тяжёлого удара я в течение нескольких недель находился в состоянии полного отчаяния, но как только смог немного оправиться, чтобы что-либо предпринять, я поехал вместе с детьми в Петербург к верной подруге Бетти Зефтиген (Betty Saeftigen), с любовью ухаживавшей за моей женой до самой её смерти, и в Павловск к родителям моей Маргот. Они проживали в то время в Константиновском дворце в центре Павловского парка и часто общались с Великой княгиней Александрой Иосиповной (уроженкой Альтенбурга), с сыновьями которой занимался мой тесть. Оттуда мы направились в Ревель/Таллин (Reval) и Муналас (Munalas) к доброму Джому Куксу (John Kucks) по приглашению сестры Бетти Зефтиген госпожи доктор Фюнер (Fuehner). Прекрасные дни там были омрачены появившимся сильным кашлем у пятилетнего Вальтера. Он не мог избавиться от этого кашля и в Тишере (Tischer), где мы некоторое время провели у моей сестры Алины Гейслер (Aline Geissler).

Незабываемыми для меня остались поездка на лодке и повозке в Каккомяги (Kakkomagi) и большая пешеходная прогулка вдвоём с сыном Германом (Herrmann) от Тишера (Tischer) через Ревель (Reval) в Бриджит (Brigitten) и Кош (Kosch) и возвращение на следующий день.

Домой в Тверь мы отправились на пароходе. 3 сентября 1886 года к нам приехала Луиза Карлблом (Luise Carlblom), кузина моей жены, чтобы стать матерью моим несовершеннолетним детям. Двадцать лет отдала она моему дому, оставив в сердцах детей неизгладимую благодарную память. Она с честью выполняла материнские обязанности и то, кем стали мои дети, я и они обязаны её глубокому влиянию.

Перевод на русский язык    Ирины Лейнонен (Лауша)  
Розы Штейнмарк (Мюнстер)